Patti Smith Woolgathering
Патти Смит
Я пасу облака
CORPUS
Поэт индивидуальности.
The New York Times

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Поэт, певица и «крестная мать панк-движения» Патти Смит предстает в книге поэтической прозы «Я пасу облака» в совершенно непривычном образе. Здесь она — маленькая девочка, впервые познающая такой волнующий и пугающий окружающий мир. Она слышит движение трав и листвы деревьев. Она верит в существование других миров. Широко открытыми глазами она смотрит на проносящиеся над ее головой облака и понимает, что все вокруг — не просто так, что все взаимосвязано и она — часть этого волшебного мира. Знаменитая певица, изменившая рок-н-ролл и написавшая несколько великих песен, смогла сохранить в себе частичку детства. В книге «Я пасу облака» она не просто вспоминает это детство, она дарит его частичку читателям.

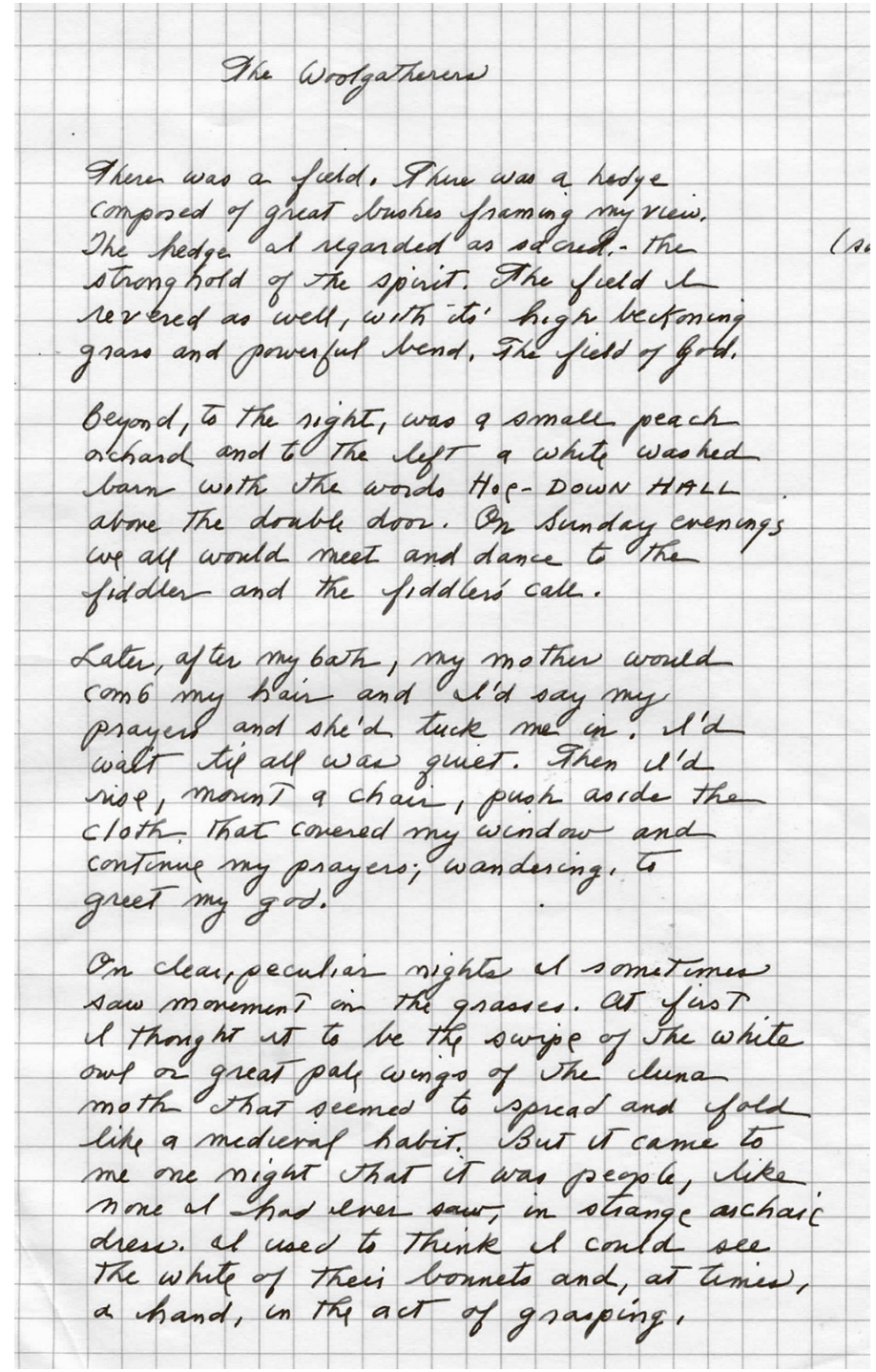
- Патти Смит
  - К читателю
  - Призвание
  - Те, кто пасет облака
  - Амбарные танцы
  - Ковбойские истины
  - Индийские рубины
  - Рисую
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
  - Два мира
  - Искусство на небесах
  - Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой
  - Кимберли
  - Милле
  - Летаю
  - Прощание
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19

Патти Смит
Я пасу облака

Моему отцу

К читателю



The Woolgatherers

There was a field. There was a hedge composed of great bushes framing my view. The hedge al regarded as sacred. - the stronghold of the spirit. The field I revered as well, with its' high beckoning grass and powerful scent. The field of Gold.

Beyond, to the right, was a small peach orchard and to the left a white washed barn with the words HOE-DOWN HALL above the double door. On Sunday evenings we all would meet and dance to the fiddler and the fiddler's call.

Later, after my bath, my mother would comb my hair and I'd say my prayers and she'd tuck me in. I'd wait til all was quiet. Then I'd rise, mount a chair, push aside the cloth that covered my window and continue my prayers; wandering, to greet my god.

On clear, peculiar nights I sometimes saw movement in the grasses. At first I thought it to be the swipe of the white owl or great pale wings of the luna moth that seemed to spread and fold like a medieval habit. But it came to me one night that it was people, like none I had ever seen, in strange archaic dress. I used to think I could see the white of their bonnets and, at times, a hand, in the act of grasping.

Фронтиспис «Я пасу облака», оригинал рукописи, 1991. Предоставлено Архивом Патти Смит.

В 1991 году я с мужем и двумя детьми жила в пригороде Детройта, в старом каменном доме у канала, впадающего в озеро Сент-Клер. По облупленным стенам взбирались плющ и вьюнок. В живых драпировках балкона, сплетении виноградных лоз и диких роз, голуби воспитывали птенцов. Участок слегка зарос, к вящему ужасу наших соседей, и, стоило нам надолго отлучиться, они пытались его подстричь. Наше дикое поле могло похвалиться множеством полевых цветов, кустами сирени, парой древних ив и одинокой грушей. Свою семью и дом я любила всем сердцем, но той весной меня одолевала жуткая, необъяснимая меланхолия. Дети в школе, уборка сделана, а я часами сижу под ивами, погрузившись в задумчивость. В таком-то настроении я и начала сочинять книгу *«Я пасу облака»*.

Грант Смит (в 19 лет), Нью-Хейвен, Коннектикут, 1935. Предоставлено Архивом Патти Смит.

Мне прислал письмо Реймонд Фой, учредивший вместе с Франческо Клементе *Hanuman Books*. Попросил что-нибудь неопубликованное. Он выпускал книжки форматом всего три на четыре дюйма, вроде крохотных индуистских молитвенников, которые помещаются в кармане. Меня восхитила идея книжки-малютки, и ранней осенью, когда на дереве дозревали груши, я

приступила к работе. Поначалу писалось медленно, и Реймонд периодически подбадривал меня по телефону. Однажды он позвонил, чтобы передать просьбу Уильяма Берроуза. Все издания *Hanuman Books* имели на корешке порядковый номер. Мне выпал номер 46 — год моего рождения, кстати. Но этот же номер приглянулся Уильяму: его любимое число — 23, то есть мое, разделенное на два. Из любви к Уильяму я согласилась поменяться.

Я писала от руки на бумаге в клетку и поставила последнюю точку 30 декабря 1991 года, в день своего сорокапятилетия. Отправила текст Реймонду, тот перепечатал его на машинке и отослал для публикации в Мадрас. Оказалось, 45 — мое идеальное число.

Сигнальный экземпляр книги «Я пасу облака» я подарила отцу, но время шло, а отец не говорил ни слова. Папа был прекрасным человеком, но надо было очень постараться, чтобы заслужить его похвалу, и я робко надеялась, что он хотя бы перелистнет страницы. Лишь спустя годы, незадолго до смерти, он сказал мне: «Патриция, я прочитал твою книгу». Я приготовилась выслушать критические замечания, но поразилась, что он назвал столь скромный подарок книгой. «Ты хорошая писательница», — сказал он и сварил мне кофе. Такой комплимент я услышала от него в первый и последний раз в жизни.

Как-то меня спросили: «Считаете ли вы „Я пасу облака“ сказкой?» Я всегда обожала сказки, но, боюсь, тут это слово не подходит. Все, что содержится в моей тоненькой книжке, — чистая правда, все описано так, как случилось на самом деле. Работа над этими текстами вывела меня из загадочного оцепенения. Надеюсь, моя книжка подарит читателю мгновения смутной, нездешней радости.

вербное воскресенье, 2011, Барселона

Призвание

Патти Смит в четвертом классе, Нью-Джерси. Предоставлено Архивом Патти Смит.

Я всегда воображала, что однажды напишу книгу, пусть даже тоненькую-тоненькую, которая уводила бы в дальние дали — в мир, что невозможно ни измерить, ни даже удержать в памяти.

Я много чего воображала. Что буду блистать. Что буду хорошей. Буду сидеть с непокрытой головой на горной вершине и втайне от всех, укрывшись в облаках, вертеть колесо, от которого вертится Земля, буду кое на что влиять, кому-то пригожусь.

Странные желания разлетались пушинками в воздухе, придавали легкость шагам хмурой девчушки с ногами-жердями, не умевшей толком даже гольфы надеть так, чтоб они не втягивались в тяжеленные ботинки.

Какие бы гольфы я ни надела, они всегда съезжали. Наверно, потому, что я часто набивала их стеклянными шариками. Рассую их по гольфам и бегом на улицу. Все остальное у меня получалось неважно, зато в шарики я могла обставить любого.

Вечером я высыпала трофеи на кровать и протирала замшей. Сортировала шарики по цвету, по боевым заслугам, а они сами собой пересортировывались: крохотные сияющие планеты, и у каждой — своя особенная история, своя воля к победе.

Я с самого начала была убеждена, что своими победами обязана не себе. Всегда чувствовала: успех уже содержится в самих предметах. Некая магия высвобождается от моего прикосновения. Волшебство я обнаруживала повсюду — словно джинны оставили свои отпечатки на каждой вещи, на всем в природе.

Будь осторожна, будь мудра. Прозорливый может поймать что-то далекое и сделать его близким.

А ветер теребил края ткани, которой было затянуто мое окно. У окна я несла вахту, примечая любой пустяк, который в моих широко распахнутых глазах запросто превращался во что-нибудь чудовищное и прекрасное.

Я присматривалась, примерялась и без малейшего усилия пропадала — ветреной пушинкой порхала между мирами, не замечая, что у меня руки-крюки, а гольфы — винтом.

Я улетала, и ни одна живая душа не замечала этого. Всем казалось, что я рядом с ними, никуда не делась — сижу на кроватке, поглощенная детской игрой.

Те, кто пасет облака

Было поле. И была живая изгородь из огромных кустов, ограничивающая обзор. Изгородь представлялась мне священной — цитаделью души. Поле тоже внушало благоговение — высокие манящие травы и торжественный изгиб дороги.

Справа к полю примыкал сад, слева стоял беленый амбар с надписью «Хоудаун»[1] над двойными дверями. Здесь воскресными вечерами мы собирались и танцевали под скрипку и по указке нашего скрипача.[2]

Дома после ванны мама расчесывала мне волосы, я молилась, мама укладывала меня спать. Я дожидалась, пока все затихнет. Тогда я вставала, влезала на стул, отодвигала с окна ткань и продолжала молиться, пускалась в странствия, приветствуя моего Бога.

В безоблачные, особенные ночи я порой замечала движение в траве. Сначала думала — пролетает белая сова или бабочка сатурния взмахивает огромными бледными крыльями, похожими на одеяние средневековой монашки. Но однажды ночью я поняла, что это люди, каких я еще нигде не видала, в странных старинных одеждах и колпаках. Мне казалось, что в свете луны, звезд или фар проезжающих машин я могу разглядеть их белые чепцы или изредка руки, которые что-то хватают.

Наутро поле сверкало, переливалось тысячами полевых цветов, мы часто рвали их и плели венки. Но центральное место занимал старый черный сарай, населенный летучими мышами. Сарая этого давно уж нет, сгорел. Но в те времена он стоял на поле, напоминая потрепанный цилиндр, который наденет только человек отважный либо отверженный. Мы — брат, сестра и я — проходили мимо, когда гуляли. Я была старшей из всех детей, а младшая тогда еще не родилась. Мы ходили в центр города и преодолевали каменную стену, которая, словно материнские объятия, оберегала «Кладбище друзей».[3] Друзья обрели покой под огромными ореховыми деревьями, и даже при дневном свете нам казалось — вот самое тихое и учтивое место на планете. Здесь, где торжественность сливалась с негой, мы вдыхали дым гнилушек, добытых на болоте, и часами разговаривали по душам без единого слова вслух. Эти дни дарили нам радость. Столько радости, что я и сейчас чувствую ее, когда перечитываю эти строки.

Танцзал Hoedown, Линда Смит Бьянуччи, 2002. Предоставлено автором фото.

Вприпрыжку возвращаясь домой, мы салютовали всему, что очаровывало нас. Старику, который торговал наживкой. Ручейку, который казался широкой, точно устье Делавэра, рекой. Арсенал, мэрия, а там уже и Томасово поле приветствует нас, едва ли не называя по именам.

Мы неслись сквозь заросли, встречали приятелей. Иногда я просто валилась на траву и смотрела на небо.

Казалось, над моей головой растянута карта всего сущего, и меня уносило прочь от смеха других детей в покой, которым я мечтала овладеть. Здесь можно было подслушать, как формируется завязь, как душа сворачивается и разворачивается носовым платком.

Я верила, что они — те люди — где-то рядом. До меня словно сквозь стену из кип хлопка доносился их шепот, их пересвистывания. Расслышать можно, но не разобрать ни одного слова языка, на котором они изъясняются, ни мелодий, которые они выводят.

Когда я возвращалась, все было так, как прежде, и я присоединялась к другим детям, и мы играли в «Море волнуется» и «Цепи-цепи, вам кого?» или, расхрабрившись, забирались в сарай и шугали ветками летучих мышей. А потом, по дороге домой, прежде чем перейти шоссе, я непременно кланялась кустам.

Томасово поле, Линда Смит Бьянуччи, 2002. Предоставлено автором фото.

Как-то днем меня послали в город одну. Я шла сама не своя от волнения, потому что решила спросить у старого торговца мотылем о полевом народе. Дети побаивались этого старика, но в

определенном освещении он выглядел почти святым, вечным. Самый старый старик в самом старом доме — покосившейся хибарке, выкрашенной в черный цвет и ютившейся в глубине заросшего участка. На крутой крыше было написано по трафарету: «НАЖИВКА». Какая бы ни была погода, старик в комбинезоне, белобородый, с длинными белыми волосами, нес вахту, присматривая за миром и за могилой своей жены, похороненной в тени за домом.

Я остановилась перед стариком. Кажется, я даже не задала вопрос вслух. Мой разум ошалело метался, никак не мог сладить с языком. И все же, возможно, одна-две фразы прозвучали. Старик ответил, качнув трубкой, не открывая глаз, даже не шевеля губами:

— Большой труд… Облака пасут…

Больше я не задавала вопросов. Слишком хрупким, слишком важным показался мне его ответ. Я просто дала деру, умчалась, чуть не позабыв сказать «до свидания». На бегу я обернулась и помахала ему, и его глаза — открытые — встретились с моими, и в них сияло то, что можно назвать только величием.

Я не очень поняла, как это — пасти облака, но рассудила: профессия достойная, самая подходящая для меня. И стала высматривать этих пастухов. В любую погоду. Притомившись, задергивала окно и ложилась на кровать, но не засыпала, развлекалась, стараясь придумать пастухам имена, и при свете фонарика рисовала эскизы их плащей и обуви, а также облака, которые они называли своим домом.

И образ пастухов на этом сонном поле все-таки навевал сон. И я бродила среди них в зарослях чертополоха и терновника, и на меня возлагали не такую уж странную обязанность — всего лишь спасать мимолетные мысли, которые, будто клочки шерсти, застревают в гребешке ветра.

Амбарные танцы

Сознание ребенка, словно поцелуй в лоб, открыто и непредвзято. Оно кружится, как балерина на самом верху высокого глазированного торта, сладкого и ядовитого.

Обыденное озадачивает ребенка, в необычайное он углубляется как ни в чем не бывало, пока отсутствие покровов не начинает пугать и сбивать с толку, и тогда он ищет укрытие, жаждет хоть какой-то упорядоченности. Ребенок взглянет мельком, выхватит крупицы информации и смастерит из своих истин немыслимое лоскутное одеяло — истин диких, лохматых, которые с правдой и рядом не лежали.

Колодки для детской обуви, Патти Смит. Предоставлено автором фото.

Беспощадный жар этого труда может порождать нечто дивное, но часто получается лишь прореха в мерцающем сумраке, из которого только предстоит вырваться и выпутаться. Конец каната, скользящий над ареной цирка, как никогда далекой и ослепительной.

Вокруг — стены, и сознание, совершая нечеткие пируэты, улавливает обрывки шифра — где фламандское слово, где вырезанный на кирпиче иероглиф.

Восклицания! Вопросы, откуда мы, где наш предел.

В детстве, отчетливо ощущая, что мы родом вовсе не отсюда, мы заглядываем в самую глубь себя и вытаскиваем на свет чужака, индуса. Мы выходим на открытую равнину, на «золотую равнину».[4] Но чаще набредаем на облако — «есть племя, что живет на облаках».[5] Таковы наши детские мысли.

В конце концов мы уясняем, как все устроено на самом деле. Опознаем себя: пальцы — мамины, ноги — папины. Но сознание — совсем другое дело. Насчет сознания никогда доподлинно не узнаешь.

Ведь сознание кружит точно бешеная собака, точно перекати-поле, точно обод колеса. Сознание — единственная наша часть, способная на трансмутации, и, наверное, только его фортели спасают нас от превращения в исправную машину. Сознание — это картина. А вон там, в уголке, еле намеченна я спираль. Может, вирус, а может, духовная татуировка.

Вытянув руки
крепко зажмурив глаза
ослепительная тошнота
крутит все вокруг
трогает сердца
тоскующие ростки
вы-
ворачиваются
на-
изнанку

До чего же широк мир. До чего высок. А вещество сознания электризуется, пуф! — разлетается по ветру, как семена, как пушинки. О-ду-ван-чик — *dandelion*, львиный зуб. Лев оскалит зубы — взрыв — и вот желания разносятся во все стороны.

Желания конкретные.
Или просто желание знать.

Ну-ка задуй свечки, загадай желание, и на звезду загадай… Чего только душе угодно. Чтоб было с кем танцевать. Вольную луну. Или, может быть, научиться слышать так, как в детстве. Или музыку — захватывающую, неунывающую, такую же немудрящую и неуловимую, как зов кадрили, пронизывающий летнюю ночь. Расширяются квадраты кадрили, квадраты упоения и смеха. И все танцуют, просто танцуют.

А снаружи манит, как мотылька, как светлячка, непомерная тишь. Зал, обвешанный бусами цветных фонариков,

растворяется… можно рискнуть и шагнуть в высокую траву, повинуясь зову — до чего же красивый стон, точно скрипка взяла и расцвела.

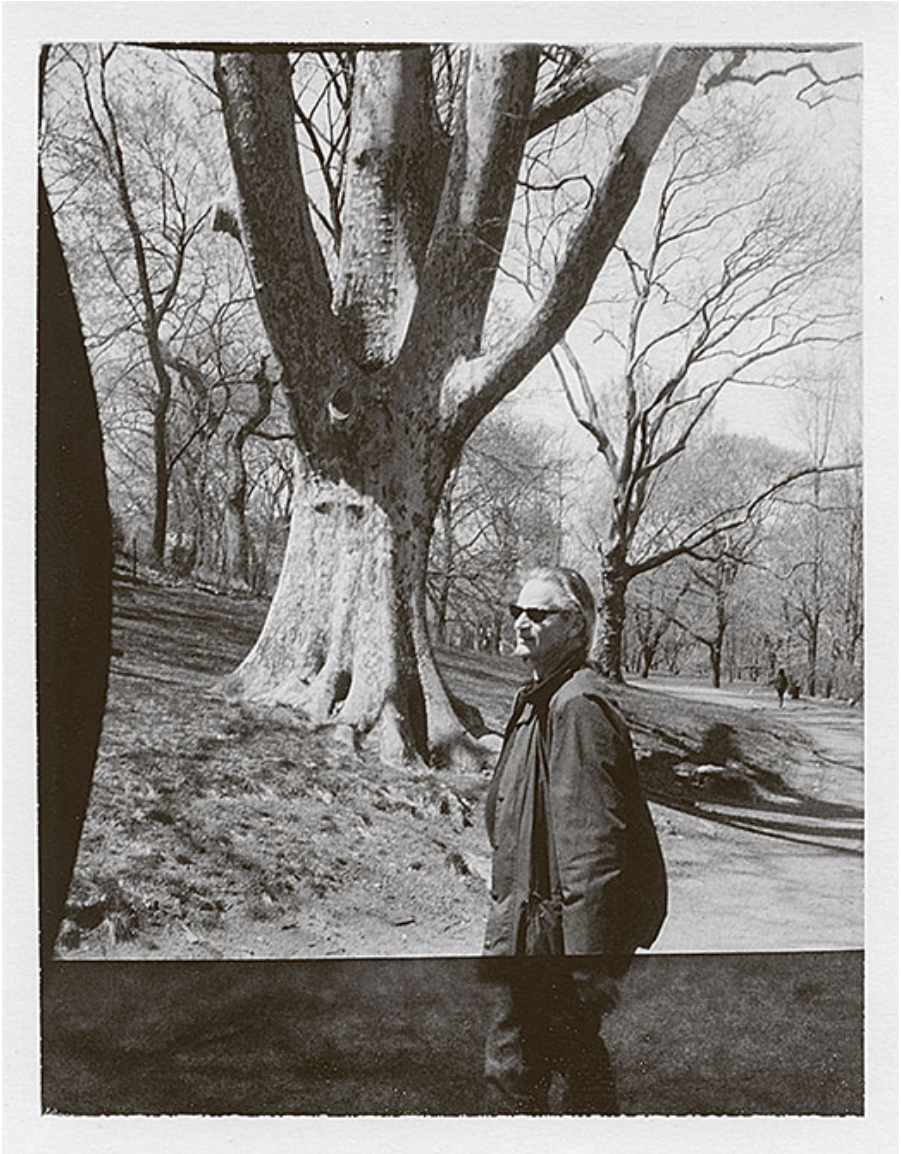
Музыка облачных пастухов, выполняющих свою работу. Изгибающих, растягивающих, перетряхивающих воздух. Собирающих то, что должно быть собрано. Выброшенное. Обожаемое. Лоскутки человеческих душ — как только их угораздило оторваться? Их ловят фартуками. Хватают руками в перчатках.

Из всего этого собирается облако. Небеса — это как у людей оперный театр. Набережная, куда тревоги выходят прогуляться. Небо притягивает взгляд праздных. Утешает усталых переливами, обещающими, что жить станет проще.

Те, кто пасет облака, делают свою работу. Без зарплаты, без контракта, но с необычайной слаженной грацией.

Словами не объяснишь. На эту службу поступаешь без задней мысли, без карьерных соображений. Бывает, погрузишься в размышления, тебя кто-то растолкает, очнешься — а тебя уже далеко занесло: покрутило в вихре пыли и вдруг отпустило.

Какой груз с души свалился! Какой журавль в руке! Какое окрыляющее предвкушение, словно назначена фигура кадрили — до-си-до![6] — в которой ты встретишься с вечерним солнцем.



Сэм Шепард в Центральном парке, 2009 год, Патти Смит. Предоставлено автором фото.

Ковбойские истины

Сэму Шепарду

Беспечный, под открытым небом, размышляет о том о сем. Что такое «труд». Что такое «безделье» и что это за небо такое: совсем рядом вздымаются валы, и кажется — запросто можно заарканить облако; пригодится подложить под голову или набить брюхо. Обмакивай куски облака, точно мясо, в свои бобы с подливкой, поваляйся на земле, устрой себе маленькую сиесту. Приволье!

Сегодня день всевластия. Его день рождения. Он вдыхает особый сегодняшний воздух — на редкость сладкий. Он родился, когда догорел костер, когда кружил сарыч. Мать носила его на спине, отец укачивал в люльке, сплетенной из нескладных баллад.

Облака, Патти Смит. Предоставлено автором фото.

Будь осторожен, когда раскрываешь душу.
Будь осторожен, раскрывай, да не всю.

Скиталец-ковбой, он просыпается внезапно, весь — доброжелательность и жажда повидать белый свет. Взваливает на плечи свою ношу. Свой и больше ничей образ жизни, свой особенный финал. Финал блестящий и страшный, как и должно быть. Он со спокойным сердцем принял необычайность своей судьбы, уже сорвал обертку с ее подарка — это свобода, свобода просто зашибись.

Он все раздал, кроме одного. Каплю благодати, единственное лассо оставил себе. «Маленько надо и для себя приберечь», — бормочет он, похохатывая. Если уж плевать небесам в лицо, то с улыбкой.

Стоит себе, щурится на солнце; какая же вокруг красота, так ее и растак, даже горло перехватывает. Он оглядывает местность, ладонь и эту золотую гору хлопот — не завалялся ли где малюсенький момент истины? И вот что он находит.

Самого себя — на службе любви. Он расчищает земли, очищает реку, укрепляет русло. Почти не устает, распираемый безумными надеждами. Ни перед кем не держит ответ, ни перед кем не преклоняется.

Вы не забыты.
Так он сказал.
Его единственная великая истина.
Он вновь совершает
ритуалы юности.
Наводит полный порядок.
Человек как человек, весь в пыли.
Батрак небес.

Индийские рубины

Полу Гетти

Я всю жизнь имею при себе что-то вроде котомки или, на худой конец, лоскут ткани или кожи, завязанный в узел. Мой узелок, мой добрый спутник, раскрывает передо мной целый мир, составленный из его содержимого, — переменчивый, ни на что не похожий, обожаемый.

Необычный узелок всегда был моим утешением, моей приятной ношей. Вот только я обнаружила — глупо привязываться к лежащим в нем памятным вещам. Стоило мне особо выделить какую-то вещь, как либо я ее куда-то задеваю, либо она сама куда-то денется.

Тибетская чаша, Патти Смит. Предоставлено автором фото.

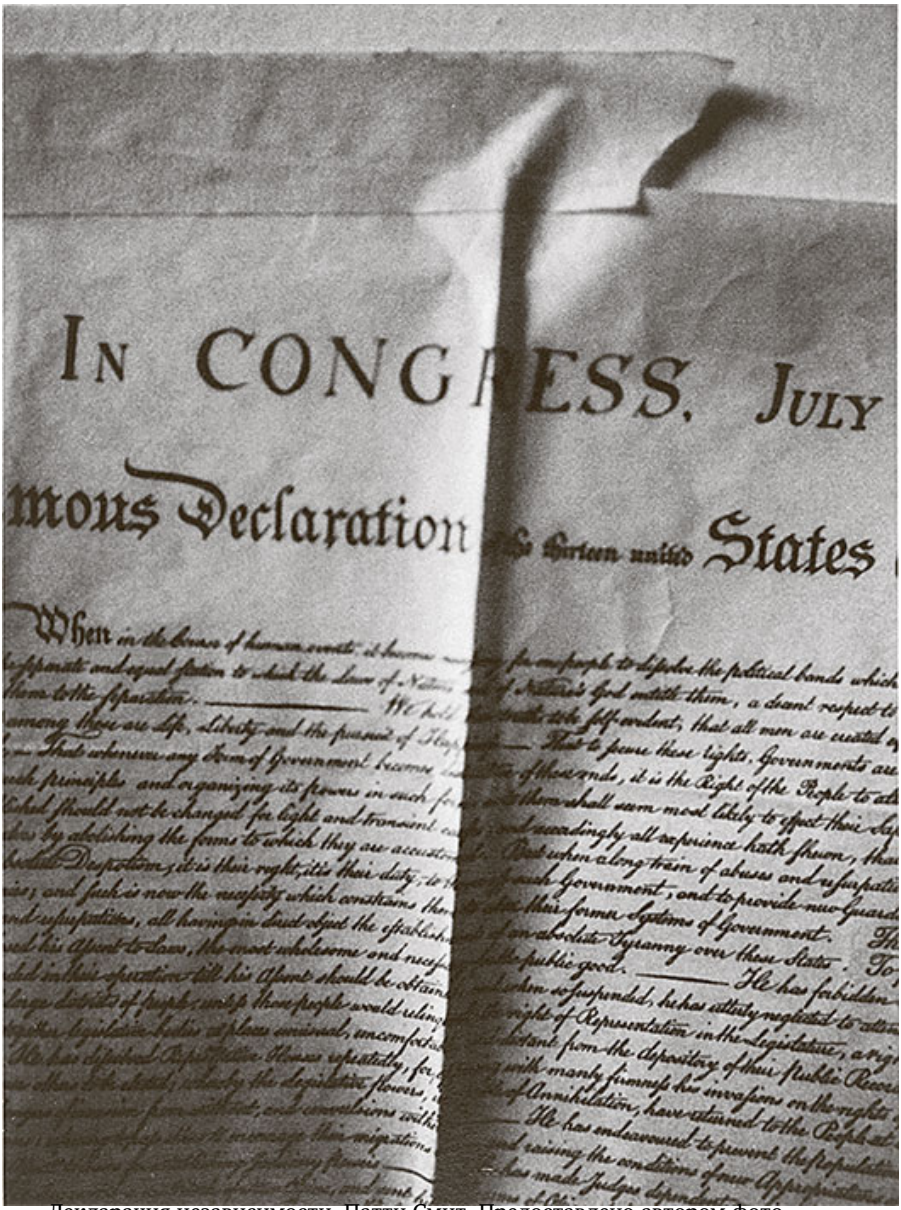
У меня был рубин. Несовершенный, красивый: ограненная кровь. Родом из Индии, где океан выбрасывает рубины на берег. Тысячи рубинов — бусинки скорби. Маленькие капельки каким-то чудом превращаются в драгоценности; нищие собирают их и выменивают на рис. Всмотревшись в его глубины, я всякий раз отшатывалась — внутри моего сокровища скопилось столько застывших надежд и горя, что человеку и не вообразить.

Он ужасал и ободрял, и я положила его в котомку, упаковав в желтый конвертик из вощеной бумаги размером с бритвенное лезвие и той же формы. Иду куда-нибудь, по дороге остановлюсь, выну камень и смотрю на него. Так часто смотрела, что отпала необходимость видеть то, на что смотрю. Так что не могу точно сказать, когда он исчез.

Но я все еще вижу его. Вижу во лбу женщины. В яремной ямке поэта. На шее дивы и на ладони дезертира. Вижу, как он режет колючую проволоку. В капле крови на коленкоровом платье. Развязываю свой узел и вываливаю содержимое на распаханную землю. Ничего — старая ложка, птичье перо, обломки карманной рации. Расстилаю ткань, ложусь отдохнуть, отдышаться: вдохи долгие, как борозды на поле. Словно пытаюсь утихомирить духов: не копошитесь, не гремите.

В окружении немыслимой ночи. Все вокруг упруго. Небо — глубокая, тревожная роза. Я чувствую пыль Калькутты, мертвые глаза Бхопала. Вижу, как молитвенные флаги трепещут, словно рваные носки, на теплом насмешливом ветру.

Позвольте предложить вам этот колокол
шепотом торговец
Огромная редкость
музейная вещь, ему цены нет
Нет, спасибо, отвечаю
Не хочу обрастать скарбом
Что вы что вы колокол отличный
Ритуального назначения
очень хороший
У меня голова — колокол
шепчу
сквозь
забинтованные пальцы
уже во сне



Декларация независимости, Патти Смит. Предоставлено автором фото.

Рисую

I

«Призраки» Эйлера[7] — скок-поскок. Чувствую: музыка расталкивает меня, словно чьи-то пальцы проделывают дерзкие дыры в частой, слабо натянутой сети. На полу свалены словари — испанский, арабский… пузырьки чернил, листы веленевой бумаги, диски фирмы *ESP*,[8] карандаши, лоскутки в блестках и «Стихи миллионера».[9] Строительный мусор поэта. Улов сумасшедшей, который я разбираю глухими ночами.

Документ, покоробившийся от жары, — лист пергамента с факсимиле Декларации независимости. Трофей третьеклассницы из экспедиции в Институт Франклина в 1955 году. Одно из моих величайших сокровищ. Дерзкое изящество почерка интриговало меня, и в детстве я потратила немало часов, копируя его — облик слов, облик подписей — на длинных бумажных свитках. Вообразила: если овладею в совершенстве этим почерком, то обрету хотя бы частицу духа автора, духа самой Независимости.

Теперь, подзуживаемая Эйлером, я вернулась к той серьезной детской забаве. Мне никогда не давались иностранные языки, так что я выучилась копировать их облик. Разлетелись во все стороны страницы с каллиграфическими письменами — пружины мира. Я встала в тот момент, когда заиграла вторая сторона диска. Патти Уотерс, *Black Is The Color*. Одни говорят, что она умерла. Другие — что работает кассиршей в дешевом кинотеатре. В любом случае петь она умела. Голос как дым.

Закипел чайник. Я встала, бросила в ситечко целую горсть мяты, заварила, налила в любимую чашку. Она напоминала перевернутую феску: без ручек, сияющая молочная глазурь, по глазури плывут рыбы и фениксы. Когда-то этот сосуд для зелья, уносящего вдаль, служил дервишу, потом англичанину, а теперь мне. Я наполнила чашку еще раз, вернулась на рабочее место и долго просидела над чаем, одетая в свой зеленый дождевик, не гармонирующий ровно ни с чем в комнате. Дождевик был нелепый, нежно любимый мной: сшит из прорезиненной тафты травяного цвета, отрыт в драгоценных копях секонд-хендов. Освещение менялось, а я все сидела в центре комнаты и копировала «Отче наш» на арамейском, надеясь, что в процессе на меня снизойдет откровение.

Пластинка снова сменилась. Звучит последняя. *Fra Angelico*.[10] Я выдернула с полки первую попавшуюся книгу по искусству — небольшой цикл рисунков углем, которые Виллем де Кунинг сделал с закрытыми глазами. Энергично, ловко. Несколько фигур в позе распятия, все работы фигуративные, но

стремятся к абстракции.

Вдохновленная, я достала карандаши и мелованную бумагу. Сделала несколько маленьких рисунков в стиле, которому научилась у Роберта,[11] когда лист заполняется одним и тем же словом, одна и та же фраза повторяется, переплетаясь сама с собой. Мало-помалу, как у меня часто бывает, замысловатые фразы зазмеились, сходясь в одну линию, и так я трудилась свободно, долго, представляя, что Роберт испытующе смотрит через плечо и говорит лаконично: «Это срабатывает. Это не срабатывает».

Я осталась довольна моей маленькой сюитой рисунков. Прикрепила несколько на стену скотчем рядом с вырезанным из газеты портретом Фернанду Песоа[12] и фотографией моей мамы, где она стоит перед кучей срубленных деревьев и улыбается. «Я около бревен, Чаттануга, 1942», — написано ее почерком на обороте. Я прибралась, разложила все по местам — меня вдруг обуяла тяга к порядку. Налила еще чаю и перевернула пластинку. Хо-Хо-Хо-ванесс. *All Men Are Brothers*. Я уселась на пожарной лестнице и стала наблюдать со второго этажа, как теряются в сумерках прохожие.

Дождевик я расстелила в ногах матраса, надела в качестве ночной рубашки старое муслиновое платье. Стоял теплый вечер. Я помолилась и переключила проигрыватель на автоповтор. Чтобы пластинка играла снова и снова, пока я сплю.

«Все люди братья». Ах, если бы так было взаправду. Моряк мог бы спокойно спать в чаше пустыни, а мусульманин — в объятиях христианского корабля. Проспала я долго: когда проснулась, торговцы, предлагавшие готовые обеды, уже ушли.

II

День выдался влажным и туманным, и, хотя настроение у меня было хорошее, мои запястья и каждая клеточка моего тела ощущали приближение бури. В углу стояла цилиндрическая ванна, которую я перевернула и приспособила под стол для дордже,[13] дорожной шкатулки, серебряной чаши для жертвоприношений и маленькой старой масляной лампы. Я бережно убрала вещи со стола и завернула в материю. Потом протерла ванну тряпкой, наполнила очень горячей водой с бурой солью и долго мылась. Соль вытянула ломоту из моих рук и ног, и после нехитрого ужина — хлеб да кофе — я достала корзинку с рукоделием.

Я вздумала подарить брату одеяло — лоскутное, как у ковбоев. Но шила я вручную, медленно и неумело, и брату, верно, пришлось бы мерзнуть еще несколько зим.

Шила я с удовольствием, и не только потому, что для любимого брата. Каждый лоскуток хранил воспоминания о наших детских годах или милых уголках планеты. Шотландка от наших рубашек, сестренкин гипюр, коричневая фланель из Непала, муаровый атлас из студии Роберта, клетчатый гинем,[14] несколько разновидностей бархата… каждый квадратик уводит в другие времена или страны, подобно семечку дикой травы или чашке редкостного чая. Но, признаюсь, от этого занятия я начала клевать носом и дрейфовать в мир, который казался правдоподобнее, чем я в роли прилежной швеи, и пальцы мои выронили иголку и нагнали сознание уже где-то не здесь.

Мальчик, Кенсингтонский сад, Патти Смит. Предоставлено автором фото.

III

Я вынырнула в знакомых местах, ни дать ни взять город Рей. [15] Жилые дома — геометрические фигуры, вырубленные на поверхности степи, в толще безводного ландшафта, окна не крупнее ладони. Я ходила от дома к дому и выдавала плотную марлю, которую распределяли в качестве москитной сетки. Но одни женщины закутывались в сетку как в покрывала, другие опускали ее в чаны с краской из хны. А потом сушили эти ярко-зеленые полотнища, которые на солнце выгорали до бледно-лилового оттенка. Женщины пришивали к ним блестки, нарезанные из тонких листочков слюды. Накидывали на себя эти шали и танцевали на крышах. Блестки осыпались — прямо звездопад, я ловила их и прятала в карман.

За мной увязывались дети, хватали за полы дождевика, клянчили мелочь и конфеты. Казалось, моей работе нет конца, марля все не кончалась, не кончались и окна в форме широких ладоней, вырезанные в стенах спартанских жилищ, от квартала к кварталу.

Но вот я все-таки дошла до конца улицы и ступила на тропу, ведущую к реке. Женщины уже набрали воды, меня никто не тревожил. Я прислонилась к кипарису, чтобы отдохнуть, а вдали, на воде, покачивались лодки, множество деревянных суденышек с белоснежными парусами. Флотилия ребенка-великана: перегнувшись через облако, он ставил лодки на воду одну за другой, изящные как крылья. Я не видела вокруг ни одной живой души, не ощущала даже человечьего духа, но паруса множились, заполняли горизонт — сплошная белоснежная ширь. Я прикрыла глаза, мне хотелось обмакнуть в чернила пруда дрожащую ветку и чертить на его глади, как смычком по струне.

Когда я открыла глаза, вокруг толпились дети, они смеялись и дразнили меня. Я встала, и они набросились на монетки, выпавшие из моего кармана. Я пошла своей дорогой, но что-то прикоснулось к моему сердцу, я оглянулась, и одна малышка, улыбнувшись, помахала мне рукой. Небо уже темнело, а лодки были только щепки — палочки от леденцов в луже после дождя.

Дорога Артюра Рэмбо, Патти Смит. Предоставлено автором фото.

IV

Опять головная боль. Трамбует мозг, гонит меня в царство безумия, где гильотина кажется очень даже неплохим средством. Я вслепую нахожу ножницы и не задумываясь обрезаю волосы. Отшвыриваю косы, ковыляю к раковине, чтобы остудить лицо и шею. Потом возвращаюсь на матрас, чувствую, что отчасти от чего-то освободилась, радостно погружаюсь в сон.

Проснулась в самой сердцевине ночи. Над моей головой в распахнутом потолочном окне висела луна, звонко-золотая, щит испуганного, но решительного молодого воина.

Каким застывшим все казалось
каким изысканно застывшим
и все, о чем мне думалось, пока я лежала здесь
пока с холма на холм скакала я, —
одна фраза:
«В движении блаженство»

Облако закрыло луну. Черное сияние. Заново слепорожденная, я на ощупь отыскала свой дневник и осталась лежать, стиснув его в руках, дожидаясь, пока луна опять появится и прольет хоть каплю света.

Потолок сделался сетью, разлохматился весь из пикирующих линий, мышца запасной язык но не тот, которым произносят слова.

Вброд через мелкий пруд… Оглянувшись, я увидела белого коня на зеленом поле и рыжего коня на белом поле. Не зная, которого выбрать, легла на спину и закачалась на воде, словно бутон в чаше. Страницы моего дневника отбрасывали глумливую тень на безмятежную гладь. Я встала. Яркая, неразрывная синева небес. Я поняла, который из коней мне мил. Поняла четко — так вонзается остро наточенное копье.

Я не самая опытная наездница, но кое-что понимаю. В кустах застряла какая-то рогожа. Я накрыла ею конскую спину и села на коня.

«В движении блаженство».

Эти слова, словно музыкальная фраза, крутилась у меня в голове, пока мы с конем скакали. Ветер обдувал мой голый затылок: я же обрезала волосы.

Вокруг была сеть, и сверху, и снизу, она сужалась, но мы скакали, пока не стало невозможно ехать дальше. Я слезла с коня и пошла пешком. Ни стен, ни плоскостей. Лишь переплетение

вздымающихся коридоров. Они вели в тупики, и в каждом припасена какая-то своя затея, отвлекающая от дела.

На экране танцует артист, обнимает бога-обезьяну, озорное божество, стройную тень, то мальчик, то зверь, то роза в оковах — чем-то сродни каждому из нас.

Утопленники восстают из мертвых, сеть затягивается, а они вытягивают себя сквозь ее ячейки, так яд выходит из раны.

Сеть падает, отягощенная рыбой, жемчугом, сожженными листьями…

Вдруг мелькнуло предчувствие: моего коня ведут к скоропостижному неизбежному финалу. Я поклялась почтить его память в творчестве — создать что-то несерьезное и вечное.

Белый рисунок — портрет покинутого воздуха. После отлета птиц. Белая тоска, которую Рембо сфотографировал, переходя через Сен-Готард. Тюль, впитывающий слезы мертвецов.

Белый рисунок скрасит голую стену форпоста или обезлюдевшее кафе.

V

Из-под крышки повалил пар. Я положила в ситечко горсть мяты и заварила чай. Смыть все беды: что было бедой, станет ерундой. Мы ходим по раскаленной золе. Кажется, для нас нет ничего невозможного. На базаре нас окликают по именам. Мы бьем в бонги, дуем в свирели. Чтобы запечатлеть то, что хрупко, и разбить вдребезги то, что дано природой.

Я оглядела свои стены, исчирканные ребяческими каракулями. Когда-то мою душу будоражили просто контуры — какая-нибудь линия, образованная тесемкой фартука. Будоражили определенные вещи. Неизменность вещей и их форма. Белые крахмальные воротнички. Большие руки на фоне темного пальто. Чтобы отделаться от этих линий и пропорций, смущавших мой покой, я начала рисовать, но со временем значимость рисования в моей жизни стала стремиться к нулю. Оно превратилось в работу, в пытку, и я его забросила.

Письменный стол Джонни Деппа, Патти Смит, 2009. Предоставлено автором фото.

Я убрала в коробку последние из моих инструментов — перья. Сложила ладони и поклонилась, покинула свой пост в поисках шума жизни. Мое окно выходило на пожарную лестницу, нависшую над улицей. Внизу сновали люди, люди с крыльями. Это было Рождество, которое я вообразила. Скоро мы покоримся капризам солнца. Скоро осыплются листья, точно умирающие ладони. А в мою ладонь мудрый ветер вложил подарок. Билет в одну сторону Дарджилинг — Гум.[16] Я сжала ладонями свой трофей, живой, как яйцо поденки. Придвинувшись к перилам, я уронила плащ, и из него посыпались вещи. Мои волосы — сальные косы — упали мне на спину.

Перемены — единственное, на что можно рассчитывать.

Два мира

Я нажарила сковородку консервированных бобов *Joan of Arc*,[17] заправила салат оливковым маслом и открыла бутылку *Gatorade*. Я была так голодна, что все съела стоя. Объедки смахнула в ведро, тарелку оставила в раковине. Насытившись, я зашевелилась в другом темпе — энергично рылась на полках, пока не нашла искомое — видеокассету с «Орфеем», Кокто. Вставила ее в плеер, перемотала до смерти Сежеста — пьяного насмешника, юного соперника Орфея. Я остановила фильм на сцене в *Café des Poets* и, отмахнувшись от своего «сегодня», свободно вошла в кадр, где обстановка накалялась под аккомпанемент мотоциклов и бонгов. Я прислонилась к стене напротив выхода, сосредоточилась на челке и битнической водолазке Жюльетт Греко под горестное пение Орфея из параллельной вселенной.

Я с удовлетворением отметила, что одета точь-в-точь как пьяный поэт — расстегнутая на груди рубашка (правда, его рубаху скоро забрызгает кровь), закатанные до щиколоток брюки, кожаные туфли на босу ногу. У стойки я помедлила, посмотрелась в зеркало. Мой воротник забрызган ярко-красным соком бобов — идеальное соответствие.

Я выпила кофе и вышла на солнце, пытаясь извлечь себя молекула за молекулой из этой напряженной атмосферы. Не очень-то хотелось еще раз увидать, как искру современной поэзии тушат одним равнодушным движением. Я собиралась заглянуть в *Les Deux Mondes*,[18] но на подходе к его неприметному фасаду замешкалась — многовато народу, в основном студенты. Они высыпали на улицу, размахивая знаменами будущего. Мне казалось, что каждого из них я знаю, но я понимала — для них я незнакомка, непрошеная гостья, приведенная призраками сквозь пыльное стекло из мира, где транзистор диктует высокую поэзию.

Сунула руку в карман, наткнулась на пачку купюр — фунты, марки, швейцарские франки. Почувствовала, как во мне пробуждается моя извечная неугомонность, моя драчливость. Зашла в табачную лавочку, купила авторучку, блокнот и бумажные носовые платки. Похоже, я где-то поцарапала шею, рубашка сильно намокла. Я попробовала стереть пятно с воротника, но оно только расплылось. Мальчишка-газетчик выкрикивал: «СНЕГОПАД В ПУСТЫНЕ!» В кафе я вошла, не привлекая внимания: необъяснимая рана послужила пропуском.

Я раскрыла блокнот, намереваясь что-нибудь написать, но вместо этого принялась рисовать. Атмосфера была сносная, и

вскоре я погрузилась в работу, мысленно заткнула уши, чтобы не слышать отвлекающих шепотков и смешков. Я сделала набросок щита, разделенного горизонтальными линиями на три части, верхнюю пометила буквой *A*, нижнюю — *O*. Центральную панель занимал существовавший и до меня пейзаж, где в высокую траву вплетались фразы. Я подумала, что, если присмотрюсь, смогу их прочитать, отыщу слова, которые всех в этом кафе поставят на уши. Опустившись на колени, я подбирала что могла, а травинки кромсали мои заношенные брюки, и тоненькие ручейки лились с края стола на пятнистый линолеум. Окруженная зеваками, я раздавала из полной корзинки пестрые листочки — богатство сбрендившего пасхального кролика.

И вдруг я от всего устала. Музыкальный автомат играл вперемежку то джаз для лифтов, то гаражный рок 1960-х. На дальнюю стену проецировали «Бунт на Сансет-Стрип»: Мимзи Фармер в цветастом мини-платье, ей уже подсунули кислоту, и она корчится, и несколько удолбанных хиппарей вот-вот навалятся на нее. Музыка *The Seeds* врастала в воздух. Я собрала свои вещи и ушла, оставив на столике несколько фунтов. За мной побежал официант.

— Это что такое? — спросил он, размахивая купюрами.

— Ой, извините, — я протянула всю свою пачку.

Он отделил от нее несколько банкнот, сердито качая головой.

Я сообразила, что не очень понимаю, где я, черт возьми, нахожусь.

Все привычное, иностранное. Я зашла в кафе *Isabelle* — не найдется ли телефонной книги? Вон в углу целая стопка. На стене позади внушительной кофе-машины наклеены портреты молодой отважной путешественницы — то в матроске, то в арабском наряде. Мальчишка-газетчик выкрикивал: «ПАВОДОК В ПУСТЫНЕ!» Игнорируя зевак, я сняла портрет со стены, но в моих руках он рассыпался в прах. Я заказала кофе по-турецки, но пить не стала, мне вдруг захотелось чего-нибудь покрепче.

Полная нескладица, но все складывается воедино. Я сделала круг и вернулась в *Les Deux Mondes* — правда, интерьер за истекший период сменился. Даже табачный дым струился как-то иначе. Стало совсем как в *Café des Poets* — кухонные революционеры и завсегдатаи похорон. Я заказала перно с водой. Теперь меня уже ничто не тревожило. У барной стойки сидела картина Модильяни: высокий узел каштановых волос подчеркивал чрезвычайную длину и белизну шеи. «Пока», — прошептала она беззвучно, и я сообразила, что уже несколько дней не разговаривала ни с кем, кроме официантов и продавцов. Я взглянула на часы. Встали. Досадно, ведь у меня нет ни

времени, ни чувства времени.

Поздний ленч — молоко и фрукты.

Написано моим собственным почерком на моем запястье, с тыльной стороны. Но это я не закажу — даже подумать тошно. Я заказала еще перно с водой, но по-настоящему мне хотелось только прилечь. Я потеряла много крови, забрызгала страницу блокнота. Слезы Поллока, объяснила я официанту. «Слезы Поллока», — накорябала я на бумаге поперек страницы. Капли множились, складывались в ограду из тонких необтесанных столбиков. Написанные мной строки тоже множились. Я не могла их укротить, и вот уже мое рабочее место завибрировало: казалось, вокруг кишат новорожденные гусеницы. Я торопливо допила бокал и жестом попросила еще. Попыталась сфокусировать взгляд на портрете над медным кассовым аппаратом. Фламандская школа, xv век. Где-то я его уже видела, возможно, в зале какой-то местной гильдии. Смотришь — бросает в дрожь, а затем по телу разливается странное тепло. Все дело в головном уборе. Легкая ткань, обрамляющая женское лицо словно сложенные крылья прозрачного гигантского мотылька.

Я разложила на столике свое имущество — иностранные монеты, пачка купюр, кроличья лапка, авторучка и драгоценный камень, спрятанный в желтом пакетике. С трудом открыла пакетик. Вот он — малюсенькая первичная гласная. Я КРАСН. Встаю: пора уходить. Поэты смотрят испытующе. У моих ног лежит щит толщиной с блокнот.

Не без самоиронии поднимаю его и преподношу им. Когда я пробираюсь к двери, меня осеняет, что эту сцену я разыгрываю не впервые. Движения повторялись как в зеркале, только аксессуары были другими — палитра, ершик, обломанные мелки.

Я подумывала стать художницей, но у меня не хватило духу. На ватных ногах я убежала, когда несколько студентов стали дергать меня за фалды обтрепанного плаща, который я отыскала у старьевщика в Кемден-Тауне среди поношенных ботинок, шинелей и военных реликвий. Студенты порылись в моих нищенских пожитках и разбрелись, жужжа, точно пчелы-невидимки. Стереотипы жалили меня, безошибочно повторяя закольцованный джингл *Doublemint*. На несколько минут я привалилась к кирпичной стене, завороженная внезапным появлением солнца и всепоглощающей мечтой о жвачке.

Гляжу, а напротив меня *Café Dante*. Мальчишка-газетчик выкрикивал: «ТЫ НЕ СТАНОВИШЬСЯ, ТЫ УЖЕ ЕСТЬ». Я поняла, где нахожусь. Если поверну голову, увижу зеленые двойные двери *Gun Club*.[19] Ударив по струнам моих рваных туфель, я попала в самое сердце любви. Пойди я прямо, я бы вышла на широкую

авеню. Поэтому я предпочла свернуть за угол, в узкий переулок. И вовремя — из меня вдруг все хлынуло наружу. Зеленая флуоресцентная жижа, всплывающие наверх бобы. Точно кухонную трубу прочистили вантузом, выгоняя яды.

Я восстановила равновесие. Откопала в кармане старую пластинку жвачки *Black Jack* и снова почувствовала себя полноценным человеком. Глубоко дыша, прошла через улицу кафе до улицы черно-белых снов и задержалась перед распахнутым окном. Над простынями склонялась женщина. Из-под шпилек выбивались пряди волос, от руки, толкающей тяжелый утюг, разбегались волны спокойствия. Мне вдруг захотелось избавиться от всего, что я на себе тащу, обратиться в ничто. Хотелось расплакаться, но не было слез. Мое дыхание складывалось в слова, но без звуков, а ясное небо крест-накрест пересекали блекнущие следы молитв и стихов — уж не пролетал ли тут Апполинер на своем биплане?

Я мечтала стать художницей, но отпустила эту мечту, уронила в миску с грунтовой краской и пеной, а сама металась между храмом и свалкой в поисках слова. Одинокая пастушка, собирающая клочки шерсти, выдранные пальцами ветра с брюшка ягненка. Слово. Роса. Ряса. Краснь. Синь. Щебечущие нити, повисшие на шипах обледеневшей ветки. Бегущая на месте, призраком посреди расплывчатой равнины, я раскинула руки навстречу их высочествам деревьям и отдалась их чистым нечестивым объятиям.

Облака, Нью-Йорк, Патти Смит. Предоставлено автором фото.

Искусство на небесах

Пробираюсь по устланной перьями местности
роняю фразы вроде
«Я видала места и похуже
видала получше
всякие я видала…»
А все, что хотите вы, — руку помощи.
Чтобы вытащили из болота, из красоты.
Чтобы вытащили…

Отпускаю в полет окна, выходящие на реку, где дети набирают ведрами воду, а женщины отбивают камнями рубахи мужей. Дети, полуголые, надкусывая диковинные, безумно сладкие фрукты, поют:

Все мы однажды умрем
И лишь непоседы,
Те, кто ступает по своим следам снова и снова —
Те не умрут,
Их назовут
Рембрандтом, Колумбом.
Мне снилось: я миссионер.
Мне снилось: я наемник.
Моей котомкой был кусок полотна,
Узел на палке качался, как помпа

Поднимешь глаза — облака строятся и перестраиваются. Похожи на эмбрион, на ушедшего друга, простертого в успокоении. Или на гигантскую руку, милосердную, как родник, которая, если уж суждено, схватит и заберет на небо этот полотняный узел и все, что в нем, даже если в нем нет ничего, кроме духа идей, только цвет воды, вес горы.

Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой

Его звали Гарри Рейл — хорошее имя для сыщика, но он больше походил на шамана. В любую погоду он сидел на голой площадке перед своим слегка накрененным домом — а дом, обшитый черной дранкой, казался нарисованным, плоским. Гарри сидел у перекрашенных ящиков, в каких привозят апельсины, и торговал наживкой — в основном опарышами и мотылем. Я никогда не видала его нигде, кроме этой площадки, и только однажды видела, как он встал и вошел в черный силуэт дома и, полное ощущение, испарился.

В 1947-м его жена умерла, и он схоронил ее прямо во дворе. По мне, это была высочайшая степень свободы — право выбирать, где хоронить любимых. Я рассудила, что у дома он сидит не только потому, что торгует. Он страж, охраняет покой жены. И, раз она рядом с ним, он тоже с нею рядом.

Я всегда предвкушала, как взгляну на него, проходя мимо, — он же святой. Мне не разрешалось ходить в город одной, но иногда мы с мамой ездили на автобусе в Кемден, а для этого надо было пешком дойти до остановки в Вудбери, на Бродстрит. Мы шли мимо, и он мне кивал. Иногда у него просто дергалось веко, но я знала — это адресовано мне.

Ле том 1957-го родилась Кимберли, младший ребенок в нашей семье. Она появилась на свет на десять лет позже меня и стала сюрпризом для всех, включая маму. Помню, как родители собирались в роддом. По телевизору шла реклама бумажных полотенец *Kimberly-Clark*, вот мама и назвала дочку Кимберли. Мама рассказывала — как увидела ее лицо, сразу подумала: «Знакомое лицо, где же я ее видела?» Потом сообразила: да в зеркале, конечно! Кимберли была жизнерадостным ребенком, несмотря на тяжелую астму и целый букет аллергий.

Теперь нас в доме стало восьмеро, если считать мамину кошку Варежку и мою собаку Бэмби. Мама любила кошку, а я любила Бэмби как саму себя. Моя собака была хорошим товарищем — умная, тихая, послушная. Мы привезли ее с собой из Джермантауна в новую жизнь на юге Нью-Джерси.

Когда в кармане у папы заводилась лишняя монетка, он шел в парикмахерскую. Иногда парикмахер разрешал мне посидеть в большом кресле и подравнивал мою челку. Челка у меня всегда росла криво, не знаю уж почему. Однажды парикмахер принес в зал корзинку с щенками. Его шелти родила их от кобеля немецкой овчарки. Все щенки были длинношерстные, и только самый слабый, точнее самая слабая, девочка, унаследовал шерсть

овчарки при масти колли. Вылитый олененок, бесконечно милая и жалостная в своей корзинке; я назвала ее Бэмби.

Отец сказал, что собака — лишний рот, который нам не прокормить. Я поклялась делиться с ней своей едой. Но отец опасался расстроить маму — она все еще скорбела по своему псу Самбо, энергичному черному кокер-спаниелю, попавшему под поезд. Мы собирали уголь, который вываливался на ходу из товарных вагонов, — вполне хватало, чтобы набить карманы, а потом печку. Самбо вечно не слушался, а в тот день выскочил на рельсы перед локомотивом. Мама была просто убита, вот папа и рассудил, что она не согласится завести другую собаку. Но Бэмби была такая кроткая и ласковая, что папа сжалился. После небольшой нервотрепки оказалось, что Варежке Бэмби полюбилась. Так собака вошла в нашу семью.

Как мне не хотелось уезжать из большого города! В Джермантауне сядь на троллейбус, и вскоре ты в Филадельфии, среди библиотек с бесконечным множеством книг. И все же мы перебрались в маленький домик, «идеальное жилье для молодой семьи», в Вудбери-Гарденс, справа — свиноферма и болото, напротив, за шоссе, — заброшенное поле со старым сараем посередине. В чужом краю своя собака — большое утешение.

Мы с Бэмби проводили много часов, исследуя лесок, который примыкал к нашему району. Я давала имена всему, что попадалось на глаза. Хребет Красноглинье. Ручей Радужный. Гнилушкино болото. Повсюду кипела жизнь, таинственная, бурная. Со временем я нежно полюбила окрестности нашего дома. Мы жили жизнью Питера Пэна. А Бэмби была для меня индейской Собакой-Духом с глубокими грустными глазами.

Кимберли часто болела. Доктор велел удалить из дома все аллергены, в том числе наших дорогих питомцев. Это был страшный удар, но я все же с пониманием отнеслась к приказу. Не обозлилась ни на доктора, ни на малышку. Все мы понимали: наш долг — облегчить жизнь Кимберли, но сердце разрывалось от одной мысли о расставании с Варежкой и Бэмби. Я подумывала: заберу Бэмби и сбегу из дома. Но куда пойдешь? Допустим, можно ночевать в полях, одолжив у облачных пастухов плащ-невидимку. Или укрыться в лесу, выстроить домик на дереве, как у Потерянных Мальчишек. Но я сознавала: какой там побег. Разве я могу бросить брата и сестер? Разве я могу бросить Кимберли? Кто ее укачает, пока родители на работе? Кто проверит, ровно ли она дышит во сне, — вдруг она однажды затаит дыхание и уйдет от нас навсегда?

Стремительно приближался день, когда за Бэмби должна была приехать семья, которая вызвалась ее приютить.

Практически незнакомые люди — я только одного из них смутно помнила по школе. Приедут и заберут Бэмби: от мысли об этом меня мутило. Впервые в жизни во мне проснулся собственнический инстинкт. Было нестерпимо думать, что моя собака перестанет быть моей.

Встала я довольно рано и пошла гулять, прихватив с собой Бэмби. Решила сводить ее во все наши любимые места. В последний раз пройдемся до Красноглинья и сделаем привал у Радужного ручья. Я взяла с собой несколько галет для собак и сэндвич с арахисовым маслом, завернутый в пергаментную бумагу. Итак, у ручья я присела, Бэмби у моих ног. Окинула взглядом мое королевство. К лакомствам она не притронулась. Знает, подумала я. Она все знает. Я больше не пыталась скрыть от нее, что должно случиться. Рассказала с начала до конца, рассказала без слов. Только взглядом. Начистоту. Она облизала мне лицо, значит, поняла.

Бэмби почти не лаяла. Только безмолвие ее печальных оленьих глаз. Пришло время возвращаться. Но сначала я отвела ее на Томасово поле; мы прилегли на траву и стали смотреть на облака. Пригревшись в теплых солнечных лучах, я задремала. Бэмби тоже уснула, положив голову и одну лапу мне на грудь.

Проснувшись, я спохватилась — надо немедленно возвращаться домой. Я буквально чувствовала: мама меня разыскивает. Побежала по полю в сторону дома, оставалось только шоссе перейти. Бэмби обогнала меня. Я ее окликнула. И вдруг она замерла посреди дороги. Я снова окликнула ее. Она даже не шевельнулась. И заглянула мне в глаза. Даже на расстоянии мне показалось, что я вижу свое отражение. Я остолбенела. И в этот самый момент из ниоткуда выскочила пожарная машина и ее сбила.

Пожарный затормозил, вылез из кабины. Мой отец выбежал из дома, подхватил Бэмби и положил на землю у кустов. У священных кустов Господних. Никто не произнес ни слова. Никто не спрашивал, как так вышло. Пожарный сокрушался, но я-то знала — его вины в случившемся нет.

Я встала на колени и осмотрела мою собаку. Еще теплая. На теле ни единой ссадины, ни капли крови. Казалось, просто спит — а она мертва. Мама плакала. Ошеломленно таращилась моя сестра Линда — огромные синие глаза на добром лице. Я принесла старое шерстяное одеяло и завернула в него Бэмби. Отец похоронил ее около нашего дома, и мы все за нее помолились.

Я не плакала. Мои противоречивые переживания вознесли меня выше мира, где возможны слезы. В тот день я долго

размышляла. Неужели это я пожелала ей смерти? Или она сама захотела умереть? Она определенно знала, что ей уготовано. Ни она, ни я не хотели, чтобы она принадлежала чужому человеку.

Стояло бабье лето, деревья уже окрасились золотым и алым. Шли дни. Ослушавшись маму, я ездила на велосипеде в запретную даль, в Вудбери, на поиски Гарри Рейла. Мне казалось, он сможет разгадать загадку, которая так удручала меня. Загадку смерти Бэмби. Это же Гарри открыл мне, чем заняты полевые духи. Я не сомневалась, что он сумеет разъяснить все на свете. Но Гарри впервые отсутствовал на своем посту, на страже покойной жены. Я еще раз съездила и снова его не застала. И никогда больше его не видела.

Прошло какое-то время. Однажды я держала на руках Кимберли. У нее случился приступ астмы, когда родителей не было дома. Я помогла ей перебороть приступ — взрослые научили меня, что делать. Потом мне удалось ее убаюкать, она заснула. С той стороны шоссе донеслись крики. Солнце садилось. Я вышла на улицу. Старый черный сарай весь пылал. Слышался душераздирающий визг. Кто-то сказал: это летучие мыши горят заживо. Я стояла у дома, прижав к себе малышку. Небо было лиловое в золотых разводах. Уже виднелись планеты и Вечерняя Звезда.

Над полем зависали тучи мошек и светлячков. У фонарей, поглощенные своей жизнью, кружились бледнокрылые сатурнии. Мой брат перебежал шоссе и помчался на поле: для мальчишек нет ничего увлекательнее, чем пожар. Но я знала: огонь не распространится. Сарай сгорит, оставив свой след, но полю ничего не угрожает — облачные пастухи уберегут его. Как Гарри Рейл берег свою жену, как я берегу Кимберли. Малышка проснулась и улыбнулась мне. И я поняла — нет на свете ничего прекраснее, чем улыбка младенца.

Кимберли

Стена высока, чернеет сарай
Малышка в пеленках у меня на руках
И я знаю: скоро расколется небо
Планеты сорвутся со своих мест,
Нефритовые шары упадут и жизнь оборвется
Сестричка, пусть рушится небо, мне не до него
Сестричка, судьба окликает тебя.

И вот я снова стою в этом древнем электрическом вихре
И море взлетает по моим коленям, как пламя,
И мне кажется — я вроде Жанны Д 'Арк, только не там, где надо
Потому что ты глядишь на меня снизу вверх.
Малышка, я помню, как ты родилась
Рассветало, и шторм внутри меня унялся,
И я покатилась по траве, и выплюнула газ
И чиркнула спичкой, и пустота зажглась
И раскололось небо, и столкнулись планеты
Упали нефритовые шары, оборвалась жизнь.
Сестричка, пусть рушится небо, мне не до него
Сестричка, судьба окликает тебя.

Мне, юной, безумной, безумие подсказало:
Все обойдется, я выберусь вместе с тобой
Одной рукой я качала тебя
Одним сердцем я держала тебя.
Знала: наше детство спасет нас
Сделав пожар нематериальным
И я бежала по полям, а летучие мыши
С детскими личиками — и жилка бьется —
Пылали в жестоком лиловом небе
И я упала на колени и прижала тебя к груди.
Твоя душа была, как ажурная сеточка слюны
Как прозрачные шары, атакующие меня
Холодной лавиной логики,
И под ударами молнии я молилась
Пусть все хоть провалится,
Рухнет, сплющится, прахом пойдет
Пусть пальмы свалятся в море,
Меня это мало тревожит, Кимберли,
Пока ты вне опасности, Кимберли,

Пока я могу смотреть в глубину
Твоих звездных глаз
Твоих звездных глаз.

Семья Олив Харт. Предоставлено Архивом Патти Смит.

Милле

С моими бабушками я не успела познакомиться: обе они умерли довольно молодыми, за год до моего рождения. Джесси Смит была кружевницей, играла на арфе и скончалась в Вербное воскресенье после продолжительной болезни. Маргерита Уильямс, мамина мама, играла на мандолине. Судя по всему, она была неунывающей оптимисткой, несмотря на душевную болезнь; умерла она в одиночестве в психиатрической больнице.

Я знала лишь мою прабабку Олив Харт, но она меня сторонилась. Рост у нее был высокий, характер стоический: ее мать рано умерла, и Олив поставила на ноги пятерых братьев и сестер. В двадцать пять лет она вышла замуж, родила и воспитала четверых сыновей, а затем, когда Маргерита оказалась в больнице, поневоле взяла на попечение мою маму и ее младших братьев.

Мама из кожи вон лезла, чтобы угодить своей бабушке, но ничем не могла завоевать ее благосклонность. Когда мы приезжали погостить, мама вручную перестирывала все белье — терла его о специальную рифленую доску, прикрепленную к большому цинковому чану. Я невольно восторгалась ее усердием, когда она отжимала простыни и развешивала их сушиться на солнце. Мама устраивала перерыв, закуривала и оглядывала плоды трудов — чистые простыни на ветру. Потом я ей помогала — собирала прищепки, пока мама сворачивала приятно пахнущее белье и складывала его в корзину. Но ни одно дело, выполненное любовно, так и не заставило Олив Харт милостиво улыбнуться.

Меня прабабка невзлюбила, как невзлюбила когда-то мою маму. Но у меня с прабабушкой было больше общего, чем различий: я походила на ее сыновей, отчасти унаследовала ее черты лица и неприветливость. Ее предки из поколения в поколение были норфолкскими фермерами и нелюдимыми пастухами. В ее крови они жили, через нее влились в мою кровь. Хотя Олив пренебрегала мной, я сознавала — по ее линии мне досталась душа юной пастушки. По ее линии мне досталась мечтательность, и я воображала, как присматриваю за стадом, собираю в кожаную сумку клочья шерсти и любуюсь переливами облаков.

По воле судьбы я выбрала поприще, которое далеко увело меня от предков, но все равно их образ жизни — это и мой образ жизни. И когда где-то в путешествии я замечаю овец на склонах или посох, валяющийся среди листьев каштана, во мне

просыпается тоска: хочется снова стать той, кем я никогда не была.

Беверли Смит (в 19 лет), Аппер-Дарби, Пенсильвания, 1939. Предоставлено Архивом Патти Смит.

Летаю

Молиться меня научила мама. До сих пор вижу, как стою на коленях перед маленькой кроваткой, которую мама мне заботливо застелила. Пижаму мне тоже сшила мама, правда, штанины были коротки — очень уж длинные у меня ноги. Но я своей пижамой гордилась, ведь мама сшила ее своими руками!

После молитвы, когда все замирало, когда до меня доносилось тихое посапывание крепко спящих брата и сестры, я залезала на стул и отодвигала полотнище, которым было завешено мое окно. И продолжала свою беседу с Богом, а заодно высматривала их, пастухов, — как старательно они собирают потерянное, чтобы снова нашлось, и облегчают даже самые тяжкие тревоги. А особенно волшебными ночами даже молитва казалась приключением, и словно расстегивалась какая-то застежка, и я спешила к пастухам. Не бежала — скользила по воздуху в нескольких футах над верхушками бурьяна. Таков был мой тайный дар, мой королевский венец.

Эти моменты были особенными, ни на что не похожими. Люди не ускользали, не суетились. Они в своих колпаках и одеждах из трепещущей пряжи стояли шеренгами лицом друг к другу и готовились. В бледном сиянии ясновидения они казались не столько людьми, сколько рядами осин, чьи листья вздрагивают от легчайшего дуновения ветра. Вычерчивали в воздухе слаженно свою загадочную работу, умудрялись своими движениями очистить и возвысить земное существование, о котором поет человеческий род. Казалось, они не собирают, а раздают, и весь мир на секунду становился благодатным.

Господь дает нам крылья
Желудки нам дает
можем летать можем блевать
преобразиться, воссиять
отпустить себя по водам
чашку горечи испить
вывернуться наизнанку
если нас собрать всех вместе
мы — фитюлька
мы — пылинка
промелькнем и не заметишь
но без нас весь воздух пуст.
Вот бессмертная мечта…

Они плели свою песню, свою ткань, а я по молодости устала от нее и полетела дальше. Парила над травой, иногда оставляя отпечатки ладоней на плодах их трудов, сложенных тут и там, точно кипы хлопка. Души, слезы, детский лепет, смех безумца — все обретает вторую жизнь. Все это я трогала или протыкала пальцем, высвобождая благоуханный, пусть и не священный туман.

Все подобранное я снова отпускала в полет, с собой прихватывала лишь немножко — сплету венки, подарю сестре и брату, они ведь часто просыпаются, когда я возвращаюсь.

Они спали, пока их сон не растекался водой. Просыпались — как вылуплялись из яйца. Все увиденное и услышанное я описывала им, и их отважные доверчивые сердца поощряли меня. Возможно, я кое-что утаивала о полевых людях, чувствуя, что правда о них — одна из тех вещей, которые суть молчание. Но все мои странствия — ярко освещенные галереи, мраморные кружева, легендарная арка и бескрайний плащ, служивший воротами то в Канзас, то в Сиам…

Обо всем этом я отчитывалась.

А когда мы выросли и пришлось разлучиться, мне стало не перед кем отчитываться о странствиях. Я писала, рисовала или просто отпускала впечатления — пусть себе летят. Ничего не просчитывала наперед — пусть приземлятся где-нибудь в крапиве и попадутся собирателю, который сострадает всему маленькому.

Проходит время, проходят со временем и некоторые чувства. Но наступают моменты, когда волшебство поля и всего, что там происходило, всплывает на поверхность. Не обязательно тогда, когда я за городом, всплывает и со страниц книг, и из картин Милле, из колорита Коро. Когда я бреду по длинному музейному залу, который озарен узнаваемым светом «малых голландцев», волшебство возвращается. Я вижу себя парящей над лугом и ощущаю давешнее чувство — чистую, невыразимую радость.

А в траве затаилась змея… змея крылатая…

В ванне: Линда, Тодд и Патти Смит, 1952, Джермантаун, Пенсильвания, Беверли Смит. Предоставлено Архивом Патти Смит.

Как и положено в детстве, я считала этот дар чем-то само собой разумеющимся. Совсем про него забыла, никогда не проверяла. Это была всего лишь одна из редких, обыденных вещей, о которых я знала — они взаправду существуют.

Недавно мне приснился сон. Если уж именовать определенные переживания «снами». Погожий осенний день, Томасово поле. На этом клочке земли, явно заброшенном, мои брат и сестра сидят и с немым восторгом смотрят, как я подпрыгиваю и зависаю в нескольких футах над землей. Нет, я не взлетела, а парила, как «тарелка», как Нижинский, и почему-то эта простота усиливала ощущение чуда. И даже в такой ситуации мы не обменялись ни словом — так уж у нас в семье повелось. Телепатия любви и невинности.

Я проснулась счастливая и весь день сияла, пока не наклонилась сделать что-то по дому, и тут поняла, что это был лишь сон. Я провалилась в омут уныния, осела на пол. Но я чувствовала, что когда-то была действительно способна на этот скромный невероятный подвиг и смогу его повторить, если захочу.

После чашки чая, воспрянув духом, я чуть не убедила себя попробовать хотя бы разок. А что, обувь у меня подходящая, мокасины. И желание есть, так и подмывает проверить мой соблазнительный дар. Но меня ждет письменный стол, раскрытый дневник, ждут перья и чернила и драгоценные слова, требующие

огранки. Итак, я оставляю свои таланты под вопросом и берусь за дело — я всегда воображала, что однажды напишу книгу.

Над моим письменным столом — небольшой портрет, фламандский, xv столетия. Когда бы я на него ни взглянула, меня непременно бросает в дрожь, а затем во мне поднимается неясная волна тепла, узнавания. Может быть, потому что на лице выражается абсолютное спокойствие, а может, дело в головном уборе — хрупкая ткань обрамляет лицо словно прозрачные крылья огромной бабочки.

Стена, Патти Смит. Предоставлено автором фото.

Прощание

Воздух был карнавальный, отзывчивый. Я отворила дверь террасы и вышла наружу. Чувствовала, как хрустит трава. Чувствовала жизнь — горящий уголек, брошенный на соломенную валентинку. Я покрыла голову. Охотно прикрыла бы и руки, и лицо. Я стояла и смотрела, как играют дети, и обстановка — рассеянный свет и запахи — перенесла меня в прошлое…

Джесс Смит, Мичиган, Патти Хадсон, 1995. Предоставлено автором фото.

Как счастливы мы в детстве. Как тускнеет свет, когда раздается голос рассудка. Бредешь по жизни, оправа без драгоценного камня. Но вот однажды сворачиваешь на другую улицу — вот же он, лежит на земле, капля граненой крови, и светится, более реальный, чем призрак. Если потянуться к нему, он может исчезнуть. Если ничего не делать, не обретешь потерянного. В этой маленькой загадке содержится выход. Молись собственной молитвой. Неважно, как ты молишься. Но,

когда молитва будет произнесена, у тебя появится единственная драгоценность, которую стоит хранить. Единственное зернышко, которое стоит подарить другому.

Маленькая ручонка протянула мне одуванчик.

Загадай желание!

Я взяла одуванчик. Ярко-желтый, дикий, ни на что на свете не влияющий, любимый Богом. Ради наших желаний превращающийся в древнее дуновение ветра. Крупинки пушистой манны слетают на землю…

Загадай желание, подуй…

Я дышу — чего мне еще желать. Все мое бытие воспарило в этом поиске. У меня была привилегия — небо, способное в мгновение ока превратиться во что угодно.

В облаках я высматривала знамения, ответы. Облака, казалось, двигались очень быстро, куполообразные, нежные соединительные ткани. Лицо искусства, в профиль. Лицо неверия в очевидность — благословенное.

Что мы делаем, Великий Бэрримор?

Колеблемся.

Что нам делать, простой монах?

Верить и дерзать.

И этот совет, в котором звучало бесконечное милосердие, сделал мои ноги легкими-легкими, и какая-то сила подняла меня, позволила воспарить над лугом, хоть всем и казалось, что я по-прежнему среди них, поглощена людскими заботами, стою обеими ногами на земле.

Джесс Смит, Гербера, Патти Смит, 2004. Предоставлено автором фото.

notes

Примечания

1

Популярный американский сельский танец типа кадрили. Праздник, где танцуют такие танцы. В переносном смысле — шумная вечеринка. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

2

Распорядитель кадрили назначает фигуры, которые должны выполнять танцоры. В данном случае функции распорядителя выполнял скрипач-аккомпаниатор.

3

Религиозное общество друзей *(Religious Society of Friends)* — христианское движение, возникшее в xvii веке в Англии и Уэльсе. Они же квакеры.

4

Возможно, отсылка к народной песне *Above a plain of gold and green*, которую раньше разучивали в американских школах.

5

Народ, живущий на облаках, упоминается в европейском средневековом фольклоре. Агобард, епископ Лионский, писал о небесной стране Магония, жители которой летают на облачных кораблях и воруют с полей зерно во время бурь, насылаемых их сообщниками-колдунами.

6

До-си-до — фигура в американской кадрили: два танцора сходятся, поворачиваются, становясь спина к спине, а затем возвращаются в первоначальную позицию.

7

Альберт Эйлер (1936–1970) — американский фри-джазовый саксофонист, певец и композитор.

8

ESP — нью-йоркская звукозаписывающая компания, основанная в 1964 году. Полное название — *ESP-Disk*. Концепция — предоставлять артистам полную свободу самовыражения, не замутненную коммерческими соображениями.

9

Возможно, имеется в виду книга *Poèmes par un riche amateur* Валери Ларбо в переводе Уильяма Джей Смита.

10

Сюита американского композитора Алана Хованесса (1911–2000), первая сторона пластинки. Вторая сторона — *All Men Are Brothers* («Все люди братья»), название Симфонии № 11.

11

Имеется в виду Роберт Мэпплторп (1946–1989) — знаменитый американский фотограф, друг и возлюбленный Патти Смит.

12

Фернанду Песоа (1888–1935) — португальский поэт, писатель, драматург.

13

Дордже — ритуальный жезл, символизирует высшую власть в тибетском буддизме.

14

Хлопчатобумажная ткань в полоску или клетку. Ассоциируется с платьем, которое Дороти из «Волшебника страны Оз» носила дома на канзасской ферме.

15

Возможно, имеется в виду вымышленный мексиканский поселок Эль-Рей, легендарное убежище американских беглых преступников. Впервые упоминается в романе Джима Томпсона «Побег» (1959), фигурирует также в фильме Роберта Родригеса по сценарию Квентина Тарантино «От заката до рассвета» (Тарантино в комментариях утверждал, что, по сути, этот поселок — ад).

16

Вероятно, билет на туристический поезд, следующий по знаменитой узкоколейной железной дороге в Западной Бенгалии от города Дарджилинг до станции Гум — самой высокогорной в Индии.

17

Реально существующая марка консервов. Производятся в США.

18

Отель «Два мира» — одно из мест действия «Орфея».

19

Café Dante и *Gun Club* существуют в реальности. Находятся по соседству на улице Макдугал в Гринич-Виллидже, Нью-Йорк.